

Максим Горький

Как поймали Семагу



Максим Алексеевич Горький

Как поймали Семагу

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=170426

М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах: Государственное издательство художественной литературы; Москва; 1949

Аннотация

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 250, 19 ноября, под заглавием «О том, как поймали Семагу. набросок».

М. Горький предполагал включить рассказ в третий том «Очерков и рассказов», в связи с чем в начале 1899 года он писал издателю С. Дороватовскому: «Семага» у вас? А я его искал. Да, его можно сунуть в книжку, кажется» (Архив А. М. Горького).

Но рассказ в книжку включён не был.

В собрания сочинений рассказ также не включался.

Печатается по сохранившейся вырезке из «Самарской газеты» с исправлениями, сделанными рукою М. Горького (Архив А. М. Горького).

Как поймали Семагу

Семага сидел в кабаке, один за своим столиком пред полбутылкой водки и поджаркой за пятиалтынный.

В прокопчённом табачным дымом подвале с каменным сводчатым потолком, освещённым двумя лампами, подвешенными к нему, и лампой за стойкой, было страшно накурено, и в тучах дыма плавали тёмные, рваные, неопределённые фигуры, ругались, разговаривали, пели и делали всё это очень возбуждённо, очень громко и с полным сознанием своей безопасности.

На улице выла суровая выюга поздней осени, носились крупные липкие хлопья снега, а в кабаке было тепло, приятно пахуче и шумно.

Семага сидел и зорко сквозь пелену дыма наблюдал за дверью, особенно зорко, когда она отворялась с улицы и в кабак входил кто-нибудь. Он в этом случае даже нагибался несколько вперёд своим крепким и гибким корпусом, а иногда приставлял к бровям ладонь руки, как щит, и долго пристально всматривался в физиономию вошедшего – на что у него были весьма основательные причины.

Рассмотрев нового гостя подробно и, очевидно, убедившись в том, в чём ему нужно было убедиться, Семага наливал себе новую рюмку водки, опрокидывал её в рот и, насадив на вилку с полдюжины кусков картофеля и мяса, отправ-

лял её вслед за водкой и долго, медленно жевал, смачно чавкая и облизывая языком свои щетинистые солдатские усы.

От его мохнатой большой головы на серую и сырую стену падала странная взъерошенная тень, и, когда он жевал, она содрогалась; это было похоже на то, как бы она кому-то усиленно, но безответно кланялась.

Лицо у Семаги было широкое, скуластое, бритое, глаза большие, серые, прищуренные, над ними тёмные мохнатые брови, и на левую бровь спускался, почти прикасаясь к ней, курчавый клок волос какого-то неопределённого, сивого цвета.

В общем Семагино лицо не возбуждало к себе доверия и даже несколько смущало выражением решимости, напряжённой и неуместной даже и посреди той компании и обстановки, среди которой Семага находился.

На нём было надето рваное драповое пальто, подпоясанное верёвкой, рядом с ним лежала шапка и рукавицы, а к спинке стула он приставил свою дубинку, довольно внушительных размеров, с шишкой из корня на одном конце.

И так он сидел, кейфовал и, допив свою водку, собирался спросить ещё, как вдруг дверь с дребезгом и визгом распахнулась, и в кабак вкатилось что-то круглое, лохматое и похожее на большой раздёрганный пук пакли, – вкатилось и закричало по-детски звонко и очень возбуждённо:

– Стрема! Подбирай голяшки, дяденьки!

Дяденьки все вдруг осеклись, замолкли, озабоченно засу-

етились, из среды их раздался густой и несколько смущённый вопрос:

– Не врѣшь?

– Лопни глаза, с обеих сторон валят. Конные и пехтурой... Двое частных, околодошники... множество!

– А кого им надо, не знашь? Не слыхал?

– Семагу, должно. Никифорыча про него спрашивали... – звенел детский голос, в то время как шарообразная фигурка его обладателя суетилась под ногами дяденек, всё ближе подкатываясь к стойке.

– Рази Никифорыч попал? – спросил Семага, напяливая на свою мохнатую голову шапку и неторопливо поднимаясь со скамьи.

– Втюрился... сейчас цопнули.

– Где?

– В Стенке у тётки Марьи.

– Ты оттуда, что ли?

– Э-э! Я огородами задал лататы да сюда; а сейчас улепетну в Баржу, там, чай, тоже есть кто.

– Валяй!

Мальчик мгновенно выкатился вон из кабака, и вслед ему раздался укоризненный возглас сидельца, благообразного седенького старичка Ионы Петровича, богобоязненного и сухенького человечка в больших очках и в чёрненькой скуфейке.

– Экая протобестия, иудин сын! А? Хамово окаянное се-

мя! На-ко? Целую тарелку слизал!

– Чего? – спросил Семага, идя к двери.

– Печёнки... всё с тарелки-то счистил. И как ему, анафемскому змеёнышу, доспелось? Хап – и чисто!

– Ну, разорил он тебя! – сурово заметил Семага, скрываясь за дверью.

Вьюга, сырая и тяжёлая, глухо шумела, крутясь над улицей и вдоль её, мокрые хлопья снега летали в воздухе такой густой массой, точно каша кипела и пенилась.

Семага постоял на одном месте с минуту и прислушался, но ничего не было слышно, кроме тяжёлых вздохов ветра да шуршания снега о стены и крыши домов.

Тогда Семага пошёл и, пройдя шагов с десять, перелез через забор на чей-то двор.

На него залаяла собака – и, как бы в ответ на её лай, где-то фыркнула и стукнула копытом лошадь. Семага решительно перекинулся вновь на улицу и пошёл по ней, направляясь к центру города, уже быстрее.

Через несколько минут, заслышав впереди себя какой-то глухой шум, он снова метнулся через забор, благополучно прошёл по двору, дошёл до отворенной калитки в сад и вскоре, без приключений миновав ещё несколько заборов и дворов, шёл по улице, параллельной той, на которой стоял кабак Ионы Петровича.

Идя, Семага думал о том, куда бы ему отправиться, но не мог ничего придумать.

Все надёжные места в эту ночь, когда чёрт дернул полицию делать обход, являлись уже ненадёжными, а провести ночь на улице в такую пургу, с риском попасть в лапы обхода или ночного сторожа, – это не могло улыбаться Семаге.

Он шёл медленно и, сощутив глаза, смотрел вперёд себя в белую муть вьюжной ночи – из неё навстречу ему выползали молчаливые дома, тумбы, фонарные столбы, деревья, и всё это было облеплено мягкими комьями снега.

Странный звук раздался в шуме вьюги – точно будто тихий плач ребёнка где-то впереди.

Семага остановился и, вытянув шею вперёд, стал похож на хищного зверя, насторожившегося в предчувствии опасности.

Звуки замерли.

Семага качнул головой и снова начал шагать, глубже нахлобучив шапку и вобрав голову в плечи, чтобы меньше снега нападало за воротник.

У самых ног его что-то запищало. Он вздрогнул, остановился, наклонился, пошарил руками на земле и выпрямился, отряхав что-то, завязанное в узел, от снега, засыпавшего эту находку.

– Вот так фунт! Ребёнок... Ах ты, сделай милость! – в недоумении прошептал он, поднося находку к своему носу.

Находка была тёплая, шевелилась и была вся мокрёхонька от растаявшего на ней снега.

Рожица у неё была намного меньше Семагиного кулака,

красная, сморщенная, глаза закрыты, а маленький рот всё открывался и чмокал. С мокрых тряпок на лицо и в этот беззубый ротик текла вода.

Семага совершенно отупел от недоумения, но, чтоб избавить ребёнка от неприятной необходимости глотать снежную воду, – догадался, что нужно оправить тряпки, и для этого перекувыркнул ребёнка вниз головой.

Тому это, должно быть, показалось неудобным, и он жалобно запищал.

– Нишкни! – сказал Семага сурово. – Нишкни! А то и те дам. Я чего вот с тобой сделаю?

А? Куда мне тебя нужно? А ты ревёшь? Ишь ты, дурачина. Но на находку Семаги нисколько не подействовала его речь – ребёнок всё пищал и так жалобно, так тихо, что Семаге сделалось неловко.

– Это, брат, как хошь! Я понимаю, что тебе мокро и холодно... и что ты мал ребёнок. Но, иначе, куда ж я тебя дену?

Ребёнок всё пищал.

– Совсем даже мне некуда тебя девать, – решительно сказал Семага, закутал свою находку плотнее в тряпки и, наклонившись, положил её на снег.

– Так-то вот. А то куда ж я тебя дену? Я, брат, и сам вроде как подкидыш в моей жизни.

Прощай, значит... Больше никаких!

И, махнув рукой, Семага пошёл прочь от ребёнка, ворча про себя:

– Кабы не обход, мог бы я тебя куда ни то сунуть. А то вон – обход. Что я тут могу сделать? Ничего, брат, не могу. Прости, пожалуйста. Невинная ты душа, а мать твоя – шкурёха.

Кабы мне её узнать, я бы ей рёбра обломал и все печёнки отбил. Чувствуй и понимай, да вдругорядь не дури. Знай край, да не падай. Эх ты, дьяволица треклятая, проклятая душа, ни дна бы тебе, ни покрывки, чтоб тебя земля не приняла, анафемскую дочь, чтоб тебя тоска-сухотка измаяла! А! Родишь? Бросаешь под забор? А за косы хочешь? Да я тебя... свинья ты! Должна ты понимать, что в такую пургу да мокроть нельзя ребят по улицам швырять, потому они слабые, как в рот снегу нанесёт – они и задохнутся. Ду-ура, выбери сухую ночь и бросай своё дитя. В сухую ночь и проживёт оно дольше и, главная вещь, увидят его люди. А разве в такую ночь люди ходят по улицам?.. Э-эх ты!

Когда именно, в каком месте своей реплики Семага воротился к находке и снова взял её на руки, он этого не заметил в увлечении своим негодованием по адресу матери подкидыша. Он сунул его себе за пазуху и, снова на все корки отчитывая мать, двинулся вперёд, охваченный чем-то тоскливым, смятённый и от жалости к ребёнку, уже и сам жалкий, как ребёнок.

Находка слабо возилась и глухо пищала, придавленная тяжёлым драпом пальто и могучей рукой Семаги. А под пальто у Семаги была только одна рваная рубаха – отчего скоро Семагина грудь почувствовала живую теплоту маленького ре-

блячьего тельца.

– Ах ты, живой! – ворчал Семага, идя сквозь снег куда-то вперёд по улице. – Нехорошо твоё дело, братец мой! Потому куда мне тебя? Вот оно что! А мать твоя... ты не возись, лежи!

Вывалишься.

Но он возился, и Семага чувствовал, как сквозь дыру в рубашке тёплое личико ребёнка трётся о его, Семагину, грудь.

И вдруг Семага, как поражённый, остановился и громко прошептал:

– А ведь он это грудь ищет! Матернюю грудь... Господи! Матернюю грудь?!

Семага задрожал даже от чего-то – не то от какого-то стыда, не то от страха – от странного и сильного, больно и тоскливо щемящего сердце чувства.

– Я... как бы мать! Ах ты, братец мой! Ну, и чего же ты ищешь? И что ты со мной делаешь?.. Я, брат, солдат, вор я, коли говорить правду...

Ветер шумел глухо и так тоскливо.

– Заснул бы ты. Ты засни. Ну, баю. Спи! Ничего, брат, не вычмокаешь. Спи ты... Я те песню спою. Мать бы спела. Ну, ну, ну... О, о, о! Баю, бай... Я не баба. Спи!

И Семага вдруг тихо и, насколько мог, нежно и протяжно запел, наклонив свою голову к ребёнку:

Ты, Матанька, дура, шкура,

Не велика ты фигура.

Это он пел на мотив колыбельной песни.

Белая муть на улице всё кипела, а Семага шёл по тротуару с ребёнком за пазухой, и в то время как ребёнок, не умолкая, пищал, вор сладко над ним мурлыкал:

Как приду я к тебе в гости,
Обломаю тебе кости.

И по его лицу от глаз текло что-то – талый снег, должно быть. Вор то и дело вздрагивал, у него щекотало в горле и щемило в груди, и было ему до слёз тоскливо идти по пустынной улице, среди выюги, с этим ребёнком, пищавшим за пазухой.

Он всё шёл однако...

Сзади его раздался глухой топот копыт, показались в мутной мгле силуэты всадников, и вот они поравнялись с ним.

– Кто идет?

– Что за человек? – раздались сразу два оклика...

Семага дрогнул и остановился.

– Что несёшь, говори? – подъехав вплотную к тротуару, спросил его один всадник.

– Несу-то? Ребёнка!

– Кто таков?

– Семага... Ахтырский.

– Приятель! А тебя ведь и искали! Ну-ка, айда, становись

к морде лошади!

– Нам надо сторонкой идти. За домами-то меньше дует. А середь дороги нам не с руки. Мы и так уж.

Полицейские едва поняли его и позволили идти сторонкой, а сами поехали рядом, не сводя с него глаз. Так он и шёл вплоть до части.

– Ага! Попал, сокол. Ну, вот и отлично! – встретил его частный пристав в канцелярии.

Семага тряхнул головой и спросил:

– А как же теперь ребёнок? Куда мне его?

– Что? Какой ребёнок?

– Подкидыш. Нашёл я. Вот.

И Семага вытащил из-за пазухи свою находку. Она дрябло перегнулась на его руках.

– Да он мёртвый уж! – воскликнул частный пристав.

– Мёртвый? – повторил Семага и, посмотрев на ребёнка, положил его на стол.

– Ишь ты, – сказал он и, вздохнув, добавил: – Сразу бы мне его взять. Может бы, он и не того... А я не сразу. Взял да опять положил.

– Ты чего ворчишь? – с любопытством спросил частный.

Семага сумрачно оглянулся вокруг себя.

Со смертью ребёнка в нём умерло многое из того, с чем он шёл по улице.

Вокруг него была казёнщина, впереди тюрьма и суд. Семаге стало обидно. Он укоризненно взглянул на трупик ре-

бёнка и со вздохом проговорил:

– Эх ты! Задарма, значит, я втрескался из-за тебя! Я думал и впрямь... ан ты и умер... – Штука!

И Семага ожесточённо стал скрести себе шею.

– Увести! – приказал частный пристав полицейским, кивая на Семагу головой.

И увели Семагу под арест.

Вот и всё.